

Б.Д. Порозовская

Людвиг Бёрне

Его жизнь и литературная деятельность

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-94
ББК 63.3-8
Б11

Б11 **Б.Д. Порозовская**
Людвиг Бёрне: Его жизнь и литературная деятельность / Б.Д. Порозовская –
М.: Книга по Требованию, 2021. – 74 с.

ISBN 978-5-4241-2459-4

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

ISBN 978-5-4241-2459-4

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© Б.Д. Порозовская, 2021

Берта Порозовская
Людвиг Бёerne. Его жизнь и
литературная деятельность

*Биографический очерк Б. Д. Порозов-
ской с портретом Людвига Бёрне грави-
рованным в Лейпциге Геданом*

Глава I

Семья Барухов и положение евреев во Франкфурте. – Детские годы Бёрне. – Первоначальное воспитание. – Яков Сакс и его влияние на Бёрне. – Первое чтение. – Пребывание в Гиссене и поездка в Берлин.

Во Франкфурте-на-Майне, в одном из домов еврейского квартала, 6 мая 1786 года происходило скромное семейное торжество: у еврея Якова Баруха родился второй сын, которому дано было имя Лёб. Маленький Лёб Барух и был тем Людвигом Бёрне, которого в настоящее время Германия с гордостью причисляет к своим сыновьям.

Семейство Барухов принадлежало к самым уважаемым членам еврейской общины во Франкфурте. Глава семьи, дед будущего писателя, жил обыкновенно в Бонне и только время от времени наезжал во Франкфурт, чтобы обсудить со своими сыновьями какую-нибудь важную финансовую операцию. Это был умный старик, славившийся своею благотворительностью, умевший держать себя в большом свете, к тому же полудипломат. Одно время он состоял финансовым агентом при кельнском курфюрсте и часто исполнял для него весьма важные дипломатические поручения. Когда курфюршеский престол сделался вакантным, он содействовал своим влиянием избранию одного из австрийских эрцгерцогов и таким образом снискал себе благоволение Марии Терезии, которая в собственноручном послании выразила ему свою благодарность и обещала, что он и его потомство всегда найдут покровительство при венском дворе. Сыновья старого Баруха, учившиеся в Бонне, были школьными товарищами Меттерниха, с которым и впоследствии сохранили связи, что давало повод отцу Бёрне, говоря о первом министре Австрии, выражаться – *«мой друг Меттерних»*. Благодаря этим связям дела Барухов процветали. Они часто получали от правительств очень выгодные подряды, и Яков Барух, поселившийся во Франкфурте, но ведший дела совместно с отцом, на которого походил умом и тактичным обращением, пользовался все более и более возрастающим благосостоянием.

Несмотря, однако, на эту материальную обеспеченность, избавившую будущего писателя от тех лишений и преждевременных забот о насущном, которые так часто омрачают юность многих талантливых людей, впечатления, вынесенные Бёрне из этого периода своей жизни, были далеко не отрадного свойства. Прежде всего – Бёрне родился евреем, и к тому же франкфуртским евреем! А это значило, что будущий пламенный борец за свободу должен был с самых ранних лет испытывать всю горечь и унижительность лишения свободы, должен был на собственном опыте познакомиться с самыми дикими, нелепыми проявлениями религиозной и национальной нетерпимости. Действительно, как ни низко было еще в то время политическое и гражданское положение евреев в Германии вообще, но в «вольном» имперском городе Франкфурте-на-Майне они подвергались особенно тяжелому гнету. Евреи все еще оставались здесь париями общества, загнанными в особый квартал, в это отвратительное средневековое «гетто», тесное и мрачное, как тюрьма, из которого они выпускались в остальные части города только днем. По ночам (а в воскресные дни уже с четырех часов пополудни) Judengasse запиралась цепями, и евреи под страхом наказания не смели более выходить из своего заточения. Исключения допускались только в том

случае, когда требовалась помощь врача или лекарство из аптеки. С какой горькою иронией Бёрне впоследствии вспоминает о «нежной» заботливости франкфуртских властей, не позволявших евреям ходить по многим улицам города, – вероятно, потому, что последние имели очень скверную мостовую, – требовавших, чтобы на других улицах они не ходили по тротуарам, а держались пыльной проезжей дороги. Когда еврей проходил по улице и какой-нибудь уличный мальчишка или пьяница кричал ему: «Mach Mores, Jud» (поклонись, жид), – тот должен был немедленно снимать шляпу. О каких-либо гражданских правах при таком отношении, конечно, не могло быть и речи. Евреи раз и навсегда обречены были заниматься торговлей, всякая другая профессия была для них закрыта. Правда, им позволялось еще заниматься медициной, но и то с ограничениями: в городе допускались лишь четыре врача-еврея. Даже жениться еврей не мог беспрепятственно: в год разрешалось не более 15 браков!

Грустно, удручающе бесцветно должно было пройти детство Бёрне в душной, спертой атмосфере, созданной для его единоверцев всеми этими тяжелыми условиями. Да и в буквальном смысле здесь чувствовался недостаток в свете и воздухе. В узкой еврейской улице, между скученными домиками с выступающими крышами, еле пропускавшими солнечные лучи, не видно было нигде зеленого уголка, тенистого садика, где бы звонко и радостно раздавался беззаботный детский смех. Шумная веселость, беспечное наслаждение жизнью здесь были незнакомы даже детям. На всех лицах – печать какой-то придавленности, вечная озабоченность. Вспоминая о своем детстве, впечатлительный, чуткий ко всему поэтическому Бёрне не может остановиться ни на одном приятном, идиллически трогательном эпизоде.

Но и в более тесной домашней обстановке мальчику жилось невесело. Отец, вечно в разъездах, являлся домой строгим патриархом, требовавшим от домашних безусловного повиновения; детей он хотя и любил, но из принципа не проявлял к ним никакой нежности. Мать, женщина замечательно красивая, но совершенно незначительная, также уделяла ребенку мало внимания. Бёрне очень редко вспоминает о ней в своих письмах, хотя она пережила его, и это одно уже показывает, какую ничтожную роль она играла в его жизни. Болезненный, менее красивый, чем братья, не умевший ласкаться, подобно им, маленький Лёб не был ее любимцем, и она открыто выказывала другим детям свое предпочтение. В довершение всего, старая служанка Элла, заправлявшая всем домом, также не благоволила к строптивому мальчику, неохотно подчинявшемуся ее деспотическому управлению, и отравляла ему жизнь мелкими придирками и гонениями.

Таким образом, мальчик рос одиноко, без ласки, как бы заброшенный. От природы робкий, сдержанный, он и самим окружением был вынужден замыкаться в самом себе. В том возрасте, когда другие дети только и думают, что об играх и шалостях, Бёрне обнаруживал уже необыкновенную серьезность и вдумчивость. Говорил он мало, но в его коротких замечаниях часто проглядывал меткий, недюжинный ум. Еще мальчиком он проявлял большое остроумие, которым пользовался как орудием в борьбе со своим домашним тираном – старой Эллой. «Ты попадешь после смерти в ад!» – воскликнула однажды старуха, возмущенная тем, что он так неохотно исполнял религиозные обряды. «Мне очень жаль, – бойко ответил мальчуган, – потому что тогда и на том свете я не буду иметь от тебя покоя». Один только дедушка Барух чувствовал симпатию к

мальчику, и когда однажды кто-то стал жаловаться при нем на молчаливость Лёба, старик горячо заступился за внука: «Оставьте мальчугана в покое! Увидите – он еще сделается великим человеком». Слова эти впоследствии вспоминались родными Бёрне как пророческое предсказание.

Обыкновенно такое раннее знакомство с людскою несправедливостью, отсутствием теплой родительской ласки ожесточают детское сердце, делают его черствым и злым. На Бёрне эти условия, к счастью, действовали иначе. Чувствуя себя в семье как бы чужим, он только все более уходил в себя и сам привыкал мало-помалу смотреть безучастно на все окружающее. Мелкие домашние происшествия, обыкновенно занимающие детские мысли и воображение, не производили на него никакого впечатления, и даже к собственным обидам он не проявлял особенной чувствительности. Если что-нибудь ему не нравилось, казалось ненормальным, он выражал свои чувства только презрительным замечанием: «Как это глупо!» Редко случалось, чтобы мальчика что-нибудь сильно обрадовало или огорчило. Он почти никогда не плакал, и только когда замечал несправедливость к другим, когда сталкивался с теми «глупыми» стеснениями, каким подвергались франкфуртские евреи, он выходил из себя и в страстных выражениях давал волю своему негодованию.

Кто знает, однако, – может быть, эти ненормальные условия развития в конце концов извратили бы благородную натуру Бёрне, если бы в окружавший его мрак одиночества вовремя не проник луч ласки и привет. К счастью, мальчик скоро нашел человека, который искренне привязался к нему и приложил все старания, чтобы ненависть и озлобление не проникли в столь часто оскорбляемую детскую душу. Это был учитель Бёрне – Яков Сакс, образованный молодой человек, прекрасный педагог, проникнутый гуманными просветительскими идеями эпохи, горячий поклонник Мендельсона и Фридендера, стремившихся к реформе еврейства. Когда он впервые вступил в дом Баруха и увидел своих будущих воспитанников, то принял одного из мальчиков, безучастно стоявшего в стороне в то время, когда два других постоянно вертелись около матери, за чужого или приемыша. Сакс скоро почувствовал особенное расположение к маленькому дикарю, который с таким вниманием прислушивался к его словам и был гораздо прилежнее и любознательнее остальных братьев. Правда, мальчик Бёрне не обнаруживал особенно блестящих способностей, но однажды воспринятое он прочно сохранял в памяти. Часто, когда, по мнению учителя, он уже давно успел позабыть данное ему объяснение по поводу заинтересовавшего его вопроса, мальчик снова возвращался к этому предмету и делал такие замечания, которые, несомненно, свидетельствовали о сильной и непрерывной работе мысли. Саксу нетрудно было убедиться, что из его воспитанников средний более всех подает надежду со временем сделаться ученым, и он с особенным усердием занялся его развитием.

К сожалению, влияние Сакса во многом парализовалось теми условиями, какие ему были поставлены отцом Бёрне. Яков Барух, несмотря на полученное им европейское образование, утонченные манеры и частые связи с христианами, решил, что первоначальное образование детей должно быть исключительно еврейское, совершенно в традиционном духе. Будучи сам довольно свободомыслящим в религиозных вопросах, он придерживался, однако, принципа, что молодые люди должны быть воспитаны в строгом повиновении и почитании закона. К

тому же его официальное положение представителя еврейской общины также налагало на него известную обязанность не уклоняться от старины. Он потребовал поэтому от домашнего учителя, чтобы тот воспитывал детей в строго ортодоксальном духе, не знакомя их с результатами новомодного просвещения, и Сакс скрепя сердце подчинился этой программе. Таким образом, мальчик раньше всего познакомился с еврейским языком. Под руководством Сакса он изучал Библию и начала Талмуда, но изучал их совершенно механически, без всякого интереса, и еще более механически исполнял многочисленные обрядовые предписания еврейской религии. Его сердце совершенно не лежало к устарелым формам еврейского культа; синагога, куда он должен был два раза на день приходить на молитву вместе с учителем, не вызывала в нем никакого благоговейного чувства. Ему нравились только те молитвы, которые носили поэтическую окраску; все остальное, сохранившее лишь историческое значение, вызывало у него обычное замечание: «Как это глупо!» К тому же от его проницательного взгляда не могло укрыться, что и сам его воспитатель относится совершенно равнодушно к формальной стороне религии, и, таким образом, результатом воспитательной системы Баруха оказалось лишь то, что Бёрне не только не приобрел прочной еврейской закваски, как ожидал его отец, но свою антипатию к незстетической внешней стороне религии перенес и на самое еврейство. Полученное им еврейское образование пустило такие слабые корни, что, очутившись на свободе, Бёрне в короткое время позабыл все пройденное и впоследствии с трудом мог даже читать по-еврейски, несмотря на то что 14-летним мальчиком удивил своими познаниями в этом языке известного ориенталиста, профессора Гецеля. Истинный дух еврейства, которому Гейне, несмотря на свое крещение, оставался верен всю жизнь – начиная с «Альманзора» и кончая «Признаниями», заключающими такие восторженные отзывы о еврейском народе и его учении, – для Бёрне так и остался чуждым. Он симпатизировал своим единоверцам только как несправедливо угнетаемым людям и, защищая их права, ратовал лишь за попираемое в их лице человеческое достоинство.

Но если Саксу не удалось побороть религиозный индифферентизм Бёрне, зато в другом отношении влияние его было тем сильнее и благотворнее. Сакс особенно заботился о том, чтобы возмущение мальчика унижительным обращением с франкфуртскими евреями не перешло в ненависть к их обидчикам. Это была, конечно, нелегкая задача. Пытливый ум будущего проповедника свободы то и дело останавливался перед каким-нибудь новым вопиющим фактом, и учителю стоило немало труда, чтобы представить эти факты в более мягком, примирительном свете. Гуцков передает следующее характерное замечание мальчика, в котором уже слышится будущий Бёрне. Однажды он предпринял со своим ментором прогулку в христианскую часть города. Полил дождь, и на улицах образовалась непролазная грязь. «Перейдем на тротуар», – предложил Бёрне. «Разве ты не знаешь», – заметил ему Сакс, – что нам, евреям, запрещено ходить по тротуарам?» – и на возражение мальчика, что ведь никто-де их теперь не видит, стал ему толковать о святости законов. «Глупый закон! – перебил его мальчик. – Если бы бургомистру вздумалось запретить нам топить зимой, так мы должны были бы замерзнуть?» Мудрено было, конечно, Саксу убедить своего воспитанника в святости и целесообразности подобных законов, и, когда однажды в воскресенье караульный солдат не пустил его за ворота улицы, мальчик

мрачно заметил учителю: «Я не выхожу лишь потому, что солдат сильнее меня». Тем не менее влиянию Сакса Бёрне главным образом обязан тем, что его возмущение против притеснений евреев не сопровождалось злобным чувством к их притеснителям-христианам, не породило в нем жажды мести. Сакс постоянно внушал мальчику, что бесправное положение евреев в Германии есть только частный факт среди всеобщего угнетения слабых сильными, что виновато в нем не христианство, а человеческая неразвитость и предрассудки, и Бёрне, научившись, таким образом, ненавидеть сам источник зла, стал менее чувствительным к отдельным его проявлениям. Еврейское происхождение будущего немецкого патриота и тяжелые впечатления, вынесенные им из детства, отразились на его позднейшем направлении лишь в том отношении, что внушили ему особенно горячее сочувствие ко всем угнетенным вообще, без различия национальности. Франкфурт с его позорными законами о евреях был для Бёрне лучшей школой, в какой только он мог воспитать в себе любовь к свободе. «Да, именно потому, что я родился рабом, свобода милее мне, чем вам, — говорил впоследствии Бёрне тем из противников, которые попрекали его еврейским происхождением, — да, именно потому, что я был в школе рабства, я понимаю свободу лучше вас. Да, оттого что у меня не было при рождении никакого отечества, я жажду приобрести его гораздо сильнее, чем вы, и вследствие того, что место, где я родился, было ограничено одной еврейской улицей, за закрытыми воротами которой начиналась для меня новая земля, мне недостаточно теперь иметь отечеством ни город, ни провинцию, ни целую область: я могу довольствоваться только всею великою отчизною, на всем пространстве, где звучит ее язык».

Чтение книг, к которому пристрастился мальчик, также содействовало его развитию в том же направлении. Сакс познакомил его с немецкой литературой, и перед мальчиком, просиживавшим над книгами, не отрываясь, все свободное время, открылся новый мир. Читал он все что ни попадалось под руку, но особенно сильное впечатление производили на него сочинения Шиллера и Жан-Поля Рихтера. Да и само время было такое, что мысль любознательного мальчика постоянно была в напряжении. Детство Бёрне совпало со знаменательной эпохой Великой революции, и, как ни замкнут был еврейский уголок во Франкфурте, события, потрясавшие Францию, а вместе с ней и всю Европу, находили себе отголосок и здесь. Еврейская молодежь устроила клуб, в котором собиралась обмениваться впечатлениями и взглядами по поводу новостей дня. Сакс, бывший одним из усердных посетителей клуба, часто брал с собой туда и своих воспитанников. Конечно, Бёрне был еще слишком молод, чтобы понимать все, о чем здесь говорилось, — но в то время, когда его братья беспечно играли с другими детьми, он внимательно прислушивался к рассуждениям старших и по возвращении домой забрасывал учителя вопросами о том, что казалось ему неясным. Мало-помалу 12-летний мальчик создал себе особый возвышенный мирок, не имевший ничего общего с окружавшей его действительностью. Свобода мысли, равенство и братство людей, гуманность и справедливость — все эти слова, звучавшие тогда так ново, производили на него неотразимо обаятельное впечатление. Вместе с этим росло и его отчуждение в кругу домашних. Взгляды отца, его постоянные наставления в духе мещанской морали раздражали его, заставляли скрывать шевелившиеся в нем мысли и чувства. Мальчик мечтал только о том, как бы вырваться из душной домашней обстановки с ее меркантильными инте-

ресами, увидеть самому тот широкий свет, о котором он знал лишь по книгам и который манил его к себе со всей прелестью неизведанных ощущений поэзии и свободы.

Яков Барух, получивший сам хорошее образование, конечно, не думал ограничивать образование своих детей одним лишь изучением еврейского языка. Когда, по его мнению, они оказались уже достаточно твердыми в знании закона, программа была расширена. Бёрне стал брать уроки у нескольких учителей, к которым ходил на дом, так как в то время христианские учителя не соглашались приходить на уроки в еврейскую улицу. Учитель чистописания Эрнст и эмигрант аббат Маркс, учивший его французскому языку, оставили в нем особенно приятные воспоминания благодаря их гуманному обращению с еврейскими учениками, которых ничем не отличали от их христианских товарищей. Уроки латинского языка он брал у ректора гимназии, Моше. Бёрне учился даже музыке – игре на флейте. В общем, однако, образование его было лишено всякой системы.

Только когда Бёрне минуло 14 лет, отец принял на его счет окончательное решение. Успехи мальчика в науках, его любознательность и явная антипатия, которую он обнаруживал к окружающей его деловой атмосфере, должны были привести отца к мысли, что из его второго сына никогда не выйдет дельный купец и что единственное поприще, на котором он будет иметь успех, – научное. Широкого выбора специальностей не предоставлялось: медицина была единственной либеральной профессией, доступной еврею, и Барух решил, что сын его будет врачом. Сам Бёрне отнесся к этому решению совершенно равнодушно. Честолюбие, которое так часто развивается в детях школьной жизнью с ее системой наград и отличий, было ему, воспитанному при условиях, исключавших всякое соревнование, совершенно незнакомо. Он не чувствовал также никакого особенного влечения к той или другой науке. Решение отца относительно будущей его карьеры имело для него значение лишь настолько, насколько оно обуславливало собой непосредственную перемену в его жизни. Дело в том, что для подготовки Бёрне к поступлению в университет приходилось отправить его в какой-нибудь христианский пансион, и, таким образом, заветная мечта мальчика – вырваться на волю – наконец должна была осуществиться. По совету Сакса, решено было отправить его в университетский город Гиссен, в недавно учрежденный пансион профессора-ориенталиста Гецеля.

С каким облегчением вздохнул Бёрне, когда наконец весной 1800 года в сопровождении своего учителя оставил за собою стены ненавистного Франкфурта и почувствовал себя на свободе, вдали от тяготившего его гнета мелочных религиозных предписаний и отцовских наставлений. Уже одна дорога в Гиссен, отстоявший на день пути от Франкфурта, – дорога, ведущая через живописный зеленый ландшафт, привела его в полный восторг. А в самом Гиссене!.. Здесь все было так ново, так непохоже на прежнюю обстановку!.. Профессор Гецель – при всей своей учености веселый, остроумный человек; открытый дом – где собирались такие же жизнерадостные, как хозяин, его коллеги и молодые студенты и где царствовал самый непринужденный тон; молоденькая дочь профессора – хорошенькая Генриетта, весьма благосклонно относившаяся к новому пансионеру... Бёрне показалось, что он попал в настоящий земной рай. Лучше всего было то, что здесь никто не думал смотреть на него свысока из-за его еврейского происхождения. Дукаты его отца доставляли ему всевозможные удобства, и Луи,

как его теперь называли, впервые зажил беззаботной, ничем не омрачаемой жизнью.

Занятия, правда, шли при этом не блестяще. Пансион Гецеля, о котором Сакс получил хорошее мнение лишь по газетным рекламам, оказался существующим пока лишь в проекте. По совету Гецеля, Бёрне имматрикулировался в университет, но учился он дома под руководством приглашенных Гецелем преподавателей. Беспредельные гости в доме, частые *parties de plaisir* по окрестностям, в которых принимал участие и Луи, – как ни благотельно действовали на робкого, чуждавшегося света юношу, – не могли, очевидно, благоприятствовать занятиям. По самой своей натуре и отчасти слабости здоровья Бёрне не отличался усидчивым прилежанием. Учился он посредственно, и учителя не замечали в нем никаких выдающихся способностей, хотя и не могли ему отказать в некоторой оригинальности ума. Единственным ценным результатом его пребывания в пансионе было то, что он усвоил себе здесь правильный немецкий язык вместо того немецкого жаргона, который господствовал в еврейском квартале.

Пребывание в Гиссене не было, впрочем, продолжительным. Пансион не приносил Гецелю тех выгод, которых он ожидал, и, находясь в стесненных обстоятельствах, он принял в 1801 году приглашение на кафедру восточных языков при Дерптском университете. Заведение его перешло к профессору статистики Кромму, у которого Бёрне остался еще до конца ноября 1802 года. Пора было начать уже собственно медицинское образование, но так как медицинский факультет в Гиссене не пользовался хорошей репутацией, то отец Бёрне решил отправить сына в Берлин. Правда, в Берлине тогда еще университета не было (он был основан в 1810 году), но зато его клиники считались лучшими, а при этих клиниках читали лекции многие знаменитые доктора, образуя таким образом нечто вроде вольного университета. В числе этих профессоров особенной славой пользовался еврей Маркус Герц, и ему-то старик Барух, не желавший оставлять молодого человека без руководителя в чужом городе, решил доверить научное образование и воспитание своего сына.